

♦ Сочиняя свой первый роман «В канцелярии», вышедший в Приокском книжном издательстве в самом начале 1991 года* (второе издание 2012 года, Москва, «Московский Парнас», имело название «Видение на Патмосе»), ввел в число персонажей непрременную фигуру советского учреждения с теплым, почти семейным климатом — любительского поэта. Это как другие непрременные: тайный и откровенный пьяницы, профессиональный «ходок», карьерист, изобретатель вечного двигателя, пишущая диссертацию незамужняя дама и так далее.

...А коль скоро поэт был введен, то ведь не Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен будет за него стихи писать-рифмовать? Пришлось самому, хотя ни до, ни после (упаси боже!) даже близко себя к служителям этой музы себя не приближал. Один из сонетов, подаренных автором персонажу, под названием «Обложка» посвящен моему любимому писателю Николаю Лескову:

*Оттенком красным том тисненый.
Обрез пульверизован — крапом стыл,
Как будто кто с усердием помыл
Щербатый пол, лениво подметенный.*

*Могучий бас диакона Ахиллы,
Жизнь мценских баб — тисненья рябь,
И плотная елецких улиц хлябь,
А «Странник» очарует дивной силой.*

*Левша творит, пылает жаром горна.
Жизнь в захолустье тихом неспорна.
В столицах — нигилисты «На ножсах».*

*Тебя полсотни лет читали в «ятях»,
Но, поумнев, на «е» решили поменять их,—
Без них читаем будет он в веках.*

...Мд-а-а, батенька, в калашный ряд вперся, хотя — здесь в точку угодил-таки как критического, так и социалистического реализма: жизненность героев создаваемых произведений. И если стихотворный «автор по роману» несколько неуклюж по части

* Здесь получилось как в пословице о счастье и несчастье: первое было полновесным гонорарным — годовая зарплата инженера (каковым тогда был) высшей квалификации; второе — к великому сожалению, книга вышла на исходе советской власти, когда в одночасье доброму нашему народу стало не до чтения, дескать, не до того, Федя, не до того...

рифм и троп поэзии, явно не проштудировавший «Теорию стиха» Жирмунского и «Поэтическое искусство» Буало, словом, «стенгазетный поэт», то и автор романа должен таковым его подать читателю. Не так ли? Словом, и мы, ничтоже сумняшеся, вывернулись из калашного ряда, и соблюли установки обоих реализмов. На том и аминь. Впрочем же, при редактировании окончательного текста романа это стихотворение мы исключили...*

Название же «Обложка», поясняемое содержанием первого четверостишия, суть знакомое почитателям творчества Николая Семеновича отнесение к оформлению первого советского собрания сочинений писателя в одиннадцати томах (М.: Худлит, 1957—1958 гг.) — относительно полное, но без самого крупного по объему романа «На ножах». Книги этого собрания отличаются заметным изяществом оформления: красная обложка с рельефным тиснением «Н. С. Лесков», с виньеткой под именем и красно-кирпичный верхний обрез блока книги: «Образ pulverизован крапом был». Второе, увы и без сомнения, последнее издание в двенадцати томах (уже с «На ножах») — 1989 года: М.: «Правда» (Библиотека «Огонек»).

...Кстати, первое и прижизненное издание сочинений Н. С. Лескова (1889—1890 гг.) также вышло в одиннадцати томах: десять по начальной «расцеховке» с допечаткой одиннадцатого. Издание отпечатано было в типографии — так тогда в общем именовались книжные издательства — крупнейшего книгоиздателя А. С. Суворина. Не от хорошей жизни знавший счет деньгам Лесков не стал продавать права на издание книгоиздателю, но, взяв в долг у хорошо ему знакомого Суворина семнадцать тысяч рублей, у него же издал на эти деньги собрание сочинений, по мере выхода и продажи томов через агентство все того же Суворина выплатил ему долг и даже заработал себе восемь тысяч, чему был очень рад. Пригодилась сметка разъездного торгового представителя, когда молодой Лесков, мало еще помышлявший о писательстве, три года беспрестанно на вольных и перекладных колесил по всей необъятности России, работая в пензенской компании «дяди Шкотта» — обрусевшего англичанина Александра Яковлевича Шкотта, мужа его тетки. Много чего в жизни Николай Семенович перепробовал до начала писательства... только денег так и не нажил.

Посмертно, в 1896 году, уже другой, не менее (а вообще-то и более!) известный книгоиздатель А. Ф. Маркс напечатал двенадцатый том. Маркс же в следующем году издал второе полное собрание сочинений Н. С. Лескова, а в 1902—1903 гг. в приложении к журналу «Нива» в тридцати шести томах (в «нивских» приложениях тома небольшого объема...). К сожалению, в советское время не было предпринято академического издания сочинений Лескова с его обширной газетно-журнальной публицистикой (а это еще не менее десятка томов!).

...Мы несколько отвлеклись на сухую библиографию, поэтому вернемся к «Обложке». Дьякон Ахилла из «Соборян», «Очарованный странник», «На ножах», «Путешествие с нигилистом», елецкие и гостомысльские люди и пейзажи — все это, упомянутое в неловких строках любительского стихотворения, мое первое знакомство с русской классикой XIX века. Именно по трехтомнику избранного Лескова, имевшемуся в отцовской библиотеке, освоив в начальных классах азы грамотности и привычку к регулярному чтению, в долгие летние каникулы, приехав из школьного интерната Полярного на очередной островной маяк на выходе из Кольского залива в Баренцево море — место работы родителей и проживания нашей семьи, постигал я волшебный строй и узорчье русского литературного языка. Именно с «Очарованным странником» и «Запечатленным ангелом», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Соборянами», «Чертогом» (куда до него купеческим кутежам в пьесах Островского!) и «Железной волей» учился богатству великорусской разговорной речи, запе-

* ...Но принципу «у хорошего хозяина и ржавый гвоздь в дело пойдет» это «стихосложение» мы передарили интеллектуальной героине другого романа «Любовь новоюрского периода» (М.: Московский Парнас, 2009). Дамам любительское стихотворство более к лицу...

чтательной нетленно на бумаге тиснениями литер. Язык «равнины русской словесности» (название нашего очерка в «Общеписательской литературной газете», увы, опять же в последнем номере ее существования...) по-разному воплотился в произведениях ярчайших ее «орловских» представителей — Тургенева, Лескова, Бунина, Бориса Зайцева и Леонида Андреева, но наиболее он богат и, так сказать, излишне не подвергнут «рафинированию и шлифовке» именно у Николая Семеновича.

И со чтением произведений Лескова, чтением детским, потом отроческим, когда уже не только «кинематографически» сюжет в голове откладывается, но начинаешь подбирать, пока робко, к осознанию сверхзадачи писателя, именно языковое их своеобразие затягивает, все более и более проникаешь в созданный автором художественный мир, хотя бы и действие развивается в полнейшей реальности. «Орел да Кромы первые воры, а Елец всем вора́м отец», — прочел и тотчас представил прожитое Лесковым детство и, особенно, учебу в орловской гимназии: глухая русская провинция, еще живущая дедовскими преданиями и кумушкиными разговорами, где все преувеличено, дофантазировано, слонами из мух представлено. Таков мир провинциального губернского, тем более уездного, города, где все замкнуто на самом себе, изолировано от большого мира, отграничено кругом людей знаемых, а в малом городке кто кого не знает? Поэтому и язык жителей консервативен, но в то же самое время и богат, ибо впитал в себя все поколенное его наращивание словарного запаса, бережно сохраняя древнерусские корни, в чем-то поддерживаемые церковным языком, который жители троекратно в день, в заутреню, обедню и вечерню, слышат в городских храмах. И, конечно, свой губернский говор и фольклор.

Вот здесь рыбак рыбака видит издалека. — В том смысле, что в этом детском и отроческом чтении Лескова орловский говор тогдашнего крестьянства, мещанства, мелкого чиновничества, духовенства и уездного дворянства — круг воспитания его — воспринимался не как сугубый архаизм, но именно как *разновидность* вечно живого, без временного деления на прошлое, настоящее и будущее, русского языка! А значит язык произведений Лескова — такой же родной, «свойский», как, например, две *разновидности* (не диалекты! — это совсем иное, да и «ученым» холодком отдающее...) русского языка, его говоров, которые, одинаково их понимая и принимая, я слышал каждодневно и постоянно с самого начала понимания слов — а именно в родном доме. Калужский говор отца с его своеобразной фонетикой, местными словечками, меткими и нелицеприятными присказками (вроде как Салтыков-Щедрин заметил, что нет на Руси более язвительного на словечки народа, нежели калужский мужик...) — все Афанасий Андреевич сохранил из своего деревенского старообрядческого (поповского толка) детства. Даже тридцатилетняя служба — военная и вольнонаемная — на Северном флоте не нивелировала этот говор.

Тем более архангельский, поморский говор матери — настолько специфический, что отцу пришлось переучивать ее «говорить по-русски». Только я с братьями отлично понимали этот «язык», как понимаешь того, кто говорит с тобой от начала осмысления.

...Это не «лирическое отступление», но пояснение доступными, надежными примерами того хорошо известного в литературоведении факта, что Лесков есть писатель не только выдающийся, признанный, но и глубоко *самобытный*. Причем во многом, пожалуй даже в основном, таковая самобытность акцентирована языком его произведений: литературная безукоризненность плюс глубокие народные корни.

♦ Лесков очень поздно по тем временам — вторая половина XIX века — вступил на литературную стезю: когда ему исполнилось уже тридцать лет. Эта «запоздалость» даже не во всем компенсировалась тем огромным жизненным опытом, что он приобрел служа в Киеве чиновником по рекрутскому набору, разъездным торговым представителем в фирме пензенского «дяди Шкотта» и так далее. Хотя такое всестороннее знание России и русской жизни и обеспечило его творчество неиссякаемым

материалом (даже Достоевский с его каторгой здесь явно уступает Лескову...), но и сократило по времени творческий период. Но — все это условно в рассуждениях «глядя со стороны». Другое дело, что литературная деятельность Лескова началась с катастрофы, последствия которой он преодолевал напряжением всех творческих сил и «сжав волю в кулак» более двадцати лет, и только в последнее десятилетие своей жизни эти последствия нивелировались. Во многом это подпортило характер писателя как в быту, так и в резкости общения в литературной среде. А как иначе, если простая неосторожность навлекла ему врагов и «справа», и «слева», и вообще со всех сторон.

...В нашем литературно-философском исследовании «Художественная эвристика» (Тула, 2000) такое многолетнее состояние Лескова мы назвали комплексом вины и аутопсихоанализом художника, связанных с явлением неосознаваемой памяти. Это явление осознано давно, едва ли не с тех пор, как человек стал догадываться о сложном характере своих чувствований. Общеизвестное и общепонятное фразеологическое выражение «засесть в печенках» и есть фольклорный терминологический инвариант понятия бессознательного. Так вот, из всей истории русской литературы именно пример Лескова наиболее показательный: как порой долго по времени и душевно болезненно происходит процесс вытеснения, своего рода аутопсихоаналитический сеанс длительностью почти во всю творческую жизнь (см. выше), причем вытеснение совершается через художественное самовыражение.

Итак, речь идет о много шумевшей в начале шестидесятых годов XIX века истории, случившейся с молодым еще — хотя уже тридцать лет? а это в том веке уже полагалось возрастом полной зрелости — Лесковым, повлекшая за собою четверть века негативного к нему отношения русской литературной общественности и едва не погубивший его талант непризнанием и остракизмом. История эта обстоятельно рассказана в воспоминаниях* сына писателя Андрея Николаевича (полковника царской армии, затем служившего в погранвойсках НКВД). Далее цитаты из этой книги.

28 мая 1862 года в Петербурге, в праздник «духова дня» при невыясненных обстоятельствах** загорелись два крупнейших рынка: Апраксин и Щукин дворы, пожар угрожал всей центральной части города. По доброму русскому обычаю, еще не потушив пожаров, уличные толки начинают доискиваться поджигателей, склоняясь что-де это поляки, либо *«те, что в мягких шляпах, очках, да пледях ходят»*, то есть студенты, нигилисты. Непонятно почему, но солидная «Северная пчела» поручена написать передовицу по столь щекотливому делу новому своему сотруднику, без сколь-либо серьезного газетного опыта, горячему на слова и догадки Лескову. Передовица же получилась столь ожесточенной в своих обвинениях «политических демагогов» (читай: передовой интеллигенции, студенчества, нигилистов, вообще всех лиц с демократическим уклоном мышления), что даже Александр II впал в гнев и написал на газете, прочитав ее: «Не следовало пропускать...»

Очень скоро, если не тотчас же, Лесков понял всю непоправимость случившегося, свою горячность и невыдержанность в словах — врожденные и воспитанные черты характера, много попортившие ему в жизни. *«Личные «терзательства» Лескова были беспредельны. Они «засели» у него в «печенках» на всю жизнь. Он положительно трепетал всегда при воспоминании о них. Это была незаживляемая, неослабно кровоточащая рана. Она была тем больнее, чем упорно почиталась им незаслуженной»*.

Перед нами, таким образом, пример глубоко засеявшего в подсознании чувства вины и одновременно с этим — чувство несправедливости по отношению к нему. Причем это именно тот случай, когда попарные чувства вины и обиды, относящиеся

* Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памяти. — 2-е изд. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1981. — 647 с. (Первое издание вышло небольшим тиражом: М.: Гослитиздат, 1954).

** Вполне вероятно, что это была обычная в купеческой среде махинация.

к одному и тому же фактическому событию в жизни, стократ усиливают процесс торможения при попытках вытеснения. Действительно, как пишет сын писателя, слишком часто Лескову напоминали об этом, слишком часто он сам вспоминал; каждый раз при этом включалась активная память и мышление, но вытеснение <из подсознания> не происходило. В такой ситуации в процессе накопления <в течении жизни> числа циклов возвратного вытеснения энергетическая база подсознательной памяти соответственно уменьшается и в конце концов становится столь незначительно малой, что практически может считаться вытесненной. Главное, чтобы в этом процессе не случилось сильного психического шока. К счастью нашего выдающегося писателя это миновало — слишком силен был у тридцатилетнего Лескова жизненный опыт. Как говорится, нет худа без добра — это все к тому, что писатель поздно вступил на путь профессионального литератора: газетного публициста и беллетриста.

Итак, два фактора, воздействуя одновременно, приближают момент почти полного вытеснения: психоаналитические откровения и время. В случае с Лесковым такие откровения приняли весьма эффективную форму: творческое самовыражение. Действительно, уже через двадцать лет после «поджигательной» передовой он пишет очерк «Обнищеванцы», где ничто не предвещает, ни сюжетом, ни «тактической» направленностью, что *«рассказ коснется в своем развитии уже хорошо забытых событий. Но Лескову забыть их не по силам. Может быть и не без натяжки, не упускается случай осветить — был ли поджог, кого больше всех он обездолил и чьим интересам отвечал»*.

Ну а время? Ведь не зря народная мудрость гласит, что время есть лучшее лекарство для огорченной неприятными воспоминаниями памяти. Так оно и есть. В случаях же более простых, то есть несчетанных, психических травм — одна обида или одна лишь вина и пр.— то только лишь время может привести к полному вытеснению из «чердака» подсознания. Каждый это знает по себе, когда и огромное горе, и сильная обида, и гнев через сколько-то лет, даже меньшего времени, или вообще забывались, или вспоминались вполне равнодушно... И не снились зловещие сны на эти «сюжеты», тем самым показывая, что вытеснение свершилось.

...История отечественной литературы знает и случаи менее счастливые для писателя. Тот же Александр Фадеев. Понятное дело, что либеральное литературоведение, как диссидентствующее в советские времена, а особенно во времена нынешней антисоветчины, самоубийство Фадеева однозначно связывает... дальше идет их обычный набор: «тоталитарный режим», «торговля совестью», «подписывание расстрельных списков» — и прочая чушь, что и привела совестливого «главного писателя страны» к роковому решению.

Но существует мнение, что причиной самоубийства Фадеева стала крупная творческая неудача, да еще усугубленная — это как стимулятор разочарования — хроническим алкоголизмом. Дело в том, что уже полностью написанный писателем производственный <по жанру> роман «Черная металлургия» основывался по сюжетно-содержательной линии на конкретном техническом решении важного и спорного метода металлургии. И как раз к окончанию написания романа «протежируемый» в нем метод, точнее его техническое решение, был наукой и практикой металлургии напрочь забракован. Правильным же оказался подход, апробированный на Новотульском металлургическом заводе (в нашем городе два металлургических завода), являвшемся опытно-производственной базой ЦНИИ черной металлургии (Москва). ...Мне в годы учебы в Тульском политехническом институте об этих «конкурирующих» методах подробно рассказывал один матерый инженер-металлург со ссылкой на Фадеева, не раз приезжавшего «за материалом» в Тулу. Опять же и в это самое время сын писателя, по-нынешнему «мажор», попал в серьезную криминальную историю.

Сказанное к тому, что при анализе писательского творчества, особенно в части его «творческой мастерской», не следует хватать жареные факты, особенно либе-

рального изготовления; неважно, XIX или XX веков, но «копать глубже». Что, например, и сделал сын Лескова, написав исчерпывающую творческую биографию своего выдающегося отца.

♦ «Давно сказано, что «литература есть записанная жизнь, и литератор есть в своем роде секретарь своего времени», он записчик, а не выдумщик, и где он перестает быть записчиком, а делается выдумщиком (выд. Н. С. Лесковым.— А.Я.), там исчезает между ним и обществом всякая связь. Словом* его теряет внушительность, мысль его не имеет опоры и не находит отклика, образы его становятся мертвы и не возбуждают сочувствия», — писал Лесков еще в первое десятилетие своей литературной жизни («Биржевые ведомости», 1869). Но таков был характер писателя, что справедливо и здраво рассуждая, он часто творчеством своим сам себя же опровергал... увы. Еще находясь в самом апогее остракизма — следствии «поджигательской» передовицы, вызвавшей гнев литераторов всех направлений, общественности и самого царя, Лесков тем не менее еще больше усугубляет свое отстранение от массово читающей публики активным участием в «антинигилистической галерее» — так мы назовем серию романов, посвященных предреформенной ситуации в России. Это, конечно же, «Бесы» Ф. М. Достоевского, «Взбаламученное море» (и отчасти «Люди сороковых годов») А. Ф. Писемского, «Панургово стадо» Вс. Крестовского. О Тургеневе и вспоминать выглядит школьничеством... А у Лескова аж два романа: «Некуда» (1864) и «На ножах» (1871). Нельзя, конечно, сказать, что гениальный Достоевский, выдающиеся писатели Лесков и Писемский, очень популярный в то время Вс. Крестовский всего лишь «отдали дань литературной и общественной моде». Особенно Достоевский, ибо он в «Бесах» не столько, так сказать, фактологию русского нигилизма описал, сколько на его примере выявил феномен всечеловеческого бесовства, как неперемногого спутника социальной эволюции, двигателем которой является противостояние добра и зла, что в письменных памятниках восходит еще к Ветхому Завету... не говоря уже о Завете Новом, где христианская мораль суть торжество добра над — тем не менее — неизбежным явлением зла. У Писемского нигилизм исследуется литературно-художественно как временное, но неизбежное явление. Вс. Крестовский увлекает читателя — в стиле всего своего творчества — занимательностью, детективностью даже сюжета.

А вот у Лескова?... Написанные в его литературной молодости, в дальнейшем и им самим они почти что третировались. Особенно «Некуда», а дописывая «На ножах», Лесков даже обмолвился в письме «если не ошибаюсь» С. Н. Шубинскому, своему другу и постоянному корреспонденту, что-де вымучиваю последние главы романа... В контексте же процитированных выше слов Лескова с акцентом на *выдумывании*, как антитезе «литературе как записанной жизни», не в бровь, но в глаз о «На ножах» писал А. Н. Майкову Достоевский: «Читаете ли вы роман Лескова в «Русском вестнике»? Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества...»

И хотя Достоевский с Лесковым истинно — до кончины первого — всегда были «на ножах», со взаимными в печати упреками, двадцать лет одновременно живя в Петербурге, даже не удостоили друг друга и мимолетной встречей хотя бы в обществе литераторов, но в продолжении письма к А. Н. Майкову Достоевский отдает дань невольного восхищения: «...Но зато — отдельные типы! Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее! Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятих годов, — то эта фигура останется на вековую память. Это гениально! А какой мастер он рисовать наших попикив! Каков отец Евангел! (выд. Ф. М. Достоевским.— А.Я.). Это другого попка я уже у него читаю. Удивительная

* Так у Андрея Лескова стоит.

судьба этого Стебницкого (псевдоним Лескова.— А.Я.) в нашей литературе. Ведь такое явление, как Стебницкий, стоило бы разобрать критически, да и посерьезнее.

...На то Достоевский и один из двух «психологических гениев» мировой литературы (другой — Шекспир), чтобы в кратких словах дать всеобъемлющую характеристику творчества Лескова: надуманность его «нигилистических персонажей» и подлинный талант в художественном представлении вроде бы разноликих людей из той общественной среды, которую Лесков прекрасно знал, выросши в ней. Еще раз отметим: эти самые «попики», купцы, выслужившиеся в дворяне чиновники невысокого класса, разоряющиеся пореформенные помещики, орловское мешанство — все они в его роду и в окружении провинциального детства и отрочества.

Противореча самому себе, в первое свое писательское десятилетие, выдуманности антинигилистическими романами Лесков все продолжал расходиться с так называемым «общественным мнением». Словно дразня его. Полагается одной из черт «орловского характера», так объемно и художественно достоверно выписанного Лесковым в лучших своих бытописательных произведениях, и принесших ему славу русского писателя: выдающегося, но и «себе на уме».

♦ «Поджигательская» передовица, антинигилистические романы, а главное — главенствующие персонажи всего творчества Лескова, отнюдь не «властители дум» все более либерализующейся России последней трети XIX века, причем «со всех сторон» — все это при жизни писателя, даже при всероссийской признательности в последние ее годы, создало ему определенный ореол, как уже выше сказано, отстраненности. Вроде бы и выдающийся, совершенно отличный по манере письма от всех остальных литературных талантов своего времени, непрерываемо самобытный, но — как-то не вписывается в писатели «первого ряда». Но и во второй ведь не зачислишь? — Особенно после успешно изданного собрания сочинений, повторенного спустя полтора десятка лет после ухода писателя из жизни. Кстати говоря, определение «самобытный», вошедшее в употребление во второй половине двадцатого века, скорее всего и было придумано для творческих людей, прежде всего литераторов, не вписывающихся в принятую «табель о рангах». Если ошибаюсь — пусть поправят...

В первую четверть уже века двадцатого никто бы не подумал относить Лескова — при всей его «отстраненности» — ко второму писательскому ряду. Но вот пришла революция, а когда уже твердо установившаяся советская власть начала государственное строительство с неизбежными для этого новыми «табелями о рангах», то и на литературу нашлась пресловутая «комиссия Луначарского — Крупской». Понятно, что ее деятельность вовсе не злокозненность и месть старому режиму, ибо комиссия верно (и квалифицированно!) служила своему государству, для которого в ближней перспективе требовалось «создание нового человека», говоря словами Горького, — в том числе, возможно даже первоочередно, учитывая курс на скорую всеобщую грамотность, в части литературных предпочтений. Члены комиссии, разумеется, не являлись «выдвиженцами» от сохи и молота, были интеллигентами под стать руководителям, но по самой постановке им задачи требовалась и определенная классовая прямолинейность по принципу «кто за красных и кто за белых». Комиссионеры морщились, но по инструкции отбирая полезные для советского человека книги из прошлого, с примерно таких же позиций относились и к таблицам царя Хамураппи и текстам фараонов Тутмоса III и Петеиса III. Конечно, это утрировано сказано, но ведь и параллельная комиссия Покровского по истории разбойника Стеньку Разина и самозванца Емельяна Пугачева именовала предтечами Октябрьской революции! Еще раз повторимся: это все не от глупости и родственных ей качеств, но при резкой смене одной общественно-экономической формации другой *на первых порах* требуется столь же резкое изменение ориентиров во всех областях, так или иначе входящих в идеологический ареал. Здесь-то литература первостепенна. Именно на первых порах. Далее идет восстановление великих имен. Но вот как был

Лесков причислен ко второму литературному разряду, хорошо хоть без титула «церковника и мракобеса» (слишком интеллигентны были Луначарский и Крупская; их совесть не допустила такого лицемерия и угодничества...), так и во второй половине века двадцатого — времени массового издания его произведений, даже романа «Некуда» — как-то молчаливо литературоведение и оставило Николая Семеновича в этом «почетном запасном ряду». И мало радости, что новейшее время глобального расчеловечивания и цифрофрении писателей всех времен и народов сравнило: как выравнивают могильные кресты на кладбище с его строгой планировкой участков. Сравняло — в смысле напрочь убрало литературу из собственного обихода винтиков современного человека. Как провидчески писал Лесков в «Запечатленном ангеле» за полтора года почти лет предвидя: «— Ну, а у нас, — говорю, — верно, другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казлось обновленная, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивою вывела».

Только следует снять акцент «русский» — ныне, в эпоху глобализации, любой из подлунных жителей нашей планеты суть — в исторической и иной памяти — насадкой под крапивою выведенный.

Пусть не покажется читателю навязчивым наше внимание к антинигилистическим романам вообще и «Некуда» с «На ножах» в частности. Как выше уже было сказано, исключая «Бесов», в котором Достоевский решал сугубо свою творческую задачу, всего лишь используя «популярный жанр» в качестве сюжетно-содержательной канвы, Писемский, Лесков, Крестовский и десятки ныне забытых напрочь писателей в своих антинигилистических романах отдали дань популярной теме предреформенной России именно с позиций беллетристики — в первую очередь, что Достоевский и назвал (см. выше) «на луне происходящим».

К сожалению, по писательской молодости — не возрастной, ибо Лесков писал романы во второй половине своего четвертого десятка лет жизни — Николай Семенович не устоял перед соблазном поставить свое имя в названной череде «антинигилистических авторов». И даже двумя объемными произведениями, не ограничившись «Путешествием с нигилистом» — небольшим, но сочно, живописно, с неподражаемым лесковским юмором написанным рассказом.

Провозвестник литературных образов нигилистов Тургенев, образом Базарова открывший <читающему> русскому обществу такое явление — запоздалое как всегда из Европы веяние, не «на луне происходящее» описывал в «Отцах и детях». Тургенев дал предельно четкое, совершенно реалистическое описание — и определение! — реально существующих людей. Но с последующими произведениями (см. выше) на ту же тему произошло малообъяснимое, а именно: все остановилось на «мягких шляпах и пледах», хотя бы в последней трети девятнадцатого века, когда писались антинигилистические романы, тургеневские нигилисты давно сошли со сцены действия. Какие шляпы и пледы? «Народная воля» и «Черный передел» с его воинской дисциплиной, бомбисты, держащие в стране губернаторов и министров, и вершина — убийство царя, двойного Освободителя (русских крестьян и Балкан от турок). Забыты уже нелепые «хождения в народ», на горизонте — в реакцию Александра III — просвечивается перерождение бывших народовольцев в мощную эсеровскую партию, свершившую три русские революции, свержение самодержавия и всего института частнособственности и эксплуатации человека человеком — основной вклад в создание советского государства в России.

Но только Достоевский понял и отобразил в «Бесах» грядущее, истоком которого явились уже несколько смешные тургеневские нигилисты. И — вот в чем предвидение гения! — не как чисто русское явление, но ход мировой истории. Неоднократно отмечено, что все предсказанное Достоевским (его романы и особенно «Дневник писателя») сбылось в двадцатом веке и с невероятной скоростью воплощается в наше время. Причем сбылось *только негативное* для человечества. Все остальные авторы

антинигилистических романов, Лесков в том числе, не сумели или не захотели выйти за рамки «мягких шляп и пледов», остановились на романтизме завязки. Хотя и грубое сравнение, но это как наш нынешний «телесериальный кинематограф» (а другого сейчас, увы, нет и не предвидится) остановился на ярком антураже «лихих девяностых»: менты, бандиты, разборки, олигархи различных рóзливов, проститутки обоего пола, чиновники-взяточники и пр. и пр. И это при том, что уже почти два десятка лет как этот кроваво-воровской балаган, жуткий и веселый одновременно, канул в небытие, заменившись суконно-цинковым администрированием в той части властной вертикали, что доступна лицемерию человеку в его социумной принадлежности. Хотя бы это и государственная необходимость, без которой устройство России невозможно...

...Не зря Лесков, как было сказано, не то что стыдился своих «Некуда» и «На ножах», как дани своей литературной молодости «общественной моде», но морщился при упоминании о них. В «Соборьях», написанных год спустя после «На ножах» (1872), мы видим писателя, который высказывается уже в полной философской осмысленности своей эпохи: *«Нет, кажется, и вправду уже грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность»*.

♦ Еще раз извиняемся за столь подробное внимание к антинигилистическим произведениям Лескова — рассказ «Путешествие с нигилистом», как сказали, не в счет. Но все это для контраста с той обширной частью творческого наследия писателя, которое и сделало его всероссийски известным, выдающимся мастером художественного слова. Заодно нелишне будет заметить, что всю свою писательскую жизнь Лесков оставался и газетно-журнальным «публицистом обеих столиц», как называл отца его сын Андрей Лесков. Не только ради заработка, а в деньгах писатель очень даже нуждался вплоть до второй половины восьмидесятых годов, фактически всю литературно-профессиональную жизнь, но имея что сказать из своего обширного опыта и знания русской жизни, Лесков — постоянный автор крупнейших, наиболее читаемых газет и журналов, издающихся в обеих столицах. Отсюда и его тесное знакомство (не дружба!) с московским «правым» Катковым и петербургским либеральным Сувориным — крупнейшими в России издателями, «медиамагнатами», говоря на современном американско-нижегородском волапуке...

То есть начавшись приснопамятной «поджигательской передовицей», далее в своей публицистике Лесков «запараллеливал» ее с художественным творчеством. Это обычный для писателей прием, но только у немногих, у Достоевского и Лескова первоочередно, он достиг максимальной гармонии. Ибо свойство самовыражения одновременно в публицистической и художественно-беллетристической формах предполагает определенную организацию аппарата мышления, которая одинаково продуктивно задействует логику и творческий потенциал. Говоря на языке физиологии, равнозначность мощности работы правого и левого полушарий головного мозга, что является исключением. Обычно у человека в той или иной степени что-то доминирует.

...Как поэтом рождаются с соответствующей организацией мышления, так и писатели-прозаики с тем или иным сочетанием способов самовыражения. Хорошо известный факт психологии творчества, то есть строгой системной отрасли науки биологии.

Но публицистика живет только со своим временем, своей эпохой. Опять же с оговоркой в отношении Достоевского, ибо его философско-публицистические произведения непереходящие. Лесков же прежде всего художник современной ему русской жизни. А его кредо писателя-художника выражено предельно ясно в письме к Суворину: *«...Порадуемся хотя тому, что мы еще умели всю жизнь оставаться литераторами (выд. Н. С. Лесковым.— А.Я.) и питаюсь тощими литератур-*

ными опресноками, не продавали себя ни за большие деньги, ни за малые, как это начинается у других, похваляющихся своею бесстрастностью...»

♦ ...Намереваясь коснуться языка произведений Лескова, где он, безо всякого сомнения, есть непрекаемая вершина русской словесности: не в «грамматике», не в логике и красоте построения изложения и так далее, но именно в самом полном использовании всего тезауруса* современной писателю многословной русской речи,— не можем не отвлечься, что называется, на злобу дня. Речь о нынешней агрессивной американизации русского языка. «Мы к ярлыкам не ходим»,** — ответили на статопрос три четверти населения страны, старше тридцати пяти лет, на вопрос о реформе русского языка, то есть об американизации речи, а главное — правил написания (как слышится, так и пишется; сразу вспоминаются попытки такого реформирования в семидесятые года: пресловутый *заец* вместо *зайца*...). Но вот под сорок процентов молодежи до этих тридцати пяти сообщили, что такая реформа нужна! То есть они за язык американо-нижегородский. И вот уже почти что академический словарь Виноградова, что называется на днях, внес в свои «столбцы» более шестисот американизмов навроде *кешбэк*, *хайп*, *фейк*, *коворкинг* и так далее.

А как же всяческие законы о сохранении и чистоте русского языка, в том числе недавно внесенные в поправки Основного закона страны? ...Вот здесь-то и начинается самое интересное. Имея достаточно широкий круг общения, главное — слушания, как-то: преподаватели, студенты, аспиранты университета, в котором служу (по части терминологии: с позапрошлого века все работают, а вот профессора и артисты гостеатров, ранее императорских, — *служат*), соседи по дому и двору — от гастарбайтерского дворника Кизима до заслуженной артистки, родителей известного столичного телешоумена и родственников не менее известного, советского еще, космонавта, а также молодежи, чьи разговоры долетают до меня, когда вечером прогуливаюсь по ближнему скверу с памятником Льву Толстому и прочая, прочая разновозрастная и разнообразованная публика — *ни разу не слышал от них ни единого американизма* (только у школьников и студентов самые безобидные компьютерные термины — и то когда о *компах* разговаривают)! А все они идут исключительно, начиная с вводной оговорки радиодикторши или телеведущей, дескать, «как сейчас принято говорить...», от СМИ. Прозвучала такая «оговорка» — а назавтра уже круглосуточно, со всех экранов «властителя направляющих дум» — телящика свеженький, с пылу с жару, американизм рекой разлитой в уши и глаза доверчивого народа втекает. По-детски радуясь, им шеголяют все штатные сотрудники с выходом на экран, включая актеров, играющих «ведущих политологов» — каждый к своему каналу приписанный и от него зарплату получающий. И нештатные, приглашаемые на экран, люди, подражая «штатным», также полагают приличным вставить словечко-другое из этих новорусских словечек, особенно из женщин... мужики как-то стесняются. Только полицейские и иные мундирные чины рапортуют по уставу, в котором американизмы <пока еще> не прописаны; дескать, «проведены мероприятия по выявлению и пресечению». Как в русской классике девятнадцатого века: «Разобраться до всех и наказать».

...Удивительная картина, живописца которой никак не могу установить; и умные люди, с коими на эту тему говорил, тоже плечами пожимают. А именно: как так получается, что при всей нынешней строгости вертикали власти, при законах о русском языке (см. выше), при все возрастающей конфронтации с Западом, прежде всего с Америкой (Северной, понятно дело, исключая Канаду и Мексику...), и прочая, прочая, СМИ наши, неуклонно следуя «линии партии и правительства», в то же время

* Термин филологии, обозначающий полный словарный свод <действующего в своей ипостаси> языка, включая арго, варваризмы, диалектизмы и пр.

** Данный фразеологизм в русской речи появился после Куликовской битвы, когда русские князья за ярлыками на княжение в Орду уже не ездили.

без конца осеменяют русскую речь американизмами, до словаря Виноградова уже добравшись, уже создав, правда, пока для себя, американо-нижегородскую мову? Невольно вспоминаешь наивных ребят-конспирологов, что утверждают о прямом подчинении СМИ всех стран и весей пресловутому тайному мировому правительству! Задачу же последнего почти полтора века тому назад предугадал Н. С. Лесков в последнем своем крупном произведении «Заячий ремиз» — словами Перегуда: *«Неустанно вязавши чулки, Перегуд додумался, что «надо избреть печатание мыслей». Гутенбергово изобретение печатания на бумаге он признавал ничтожным, ибо оно не может бороться с запрещениями. Настоящее изобретение будет то, которому никто не может помешать светить на весь мир».*

Ба-а! Да это же интернет, СМИ и общемировой пиджин-инглиш* — старший брат американо-нижегородского — в одном флаконе, как «сейчас принято говорить» (см. выше).

Итак, с одной стороны СМИ со своим причтом, исключая интервьюируемых людей в мундирах со своей уставной речью, горячие поборники американизации русского языка, с другой — все остальное население страны, <уже> включая и женщин с их переимчивостью, и молодое поколение с их компьютерным мышлением, и даже самих эсмэишников во внеслужебное время, которое в обыденной речи худо-бедно, но по-русски говорит, без американизмов. Это «классовое разделение» дает надежду, что великий и могучий рано или поздно сбросит с себя шелуху американского жаргона. Здесь тому великолепный пример России: почти полтора века дворянский класс изъяснялся по-французски, а остальной народ говорил по-русски. ...Сейчас мы читаем «Войну и мир», знакомясь с целыми страницами авторского французского текста по переводу в подстраничных примечаниях, а собственно в русском разговорном языке остались только три слова, и те от Наполеонова нашествия и в неодобрительном звучании: шантрапа, шваль и шаромыжник... Будем ждать, пока и с американизмами то же случается.

А вот если к середине нынешнего века Китай в мире доминировать начнет, и вместо американизмов СМИ начнут, переучившись, китайско-нижегородский диалект создавать, то и совсем конфуз случится. Дело в том, что матерные слова у нас сейчас законом запрещены, а в китайском языке, особенно в политической и социально-общественной терминологии, сложно найти слова без известного <у нас> краткого... скажем так, корневого выражения... Останутся только ниньхао и цайдзянь вместо устаревших здравствуй-прощай. А сохранившимся любителям «зеленого змия» — пейдзю, бейдзю и баландзю, то есть пиво, водка и коньяк. Но ведь СМИ это не одобряют?

Слегка развеселив читателей, заскучавших в ограничениях, связанных с известным моровым поветрием, уже и не будем убеждать их в великолепной народности языка произведений Лескова. Как писал относительно таковой у отца Андрей Лесков («Жизнь Николая Лескова»): *«Безытовой и беспочвенный по началу жизни писатель узнается по нежизненности его творчества. У него нет «родных родников». Незнание страны и живущих по необъятным ее просторам людей не проходит даром».*

Именно «родные родники», разностороннее знание — по семейным корням, сплетенным из отростков дворянства, купечества, духовенства, разъездами по всей матушке России (по жизни и на службе у английского своего дяди) — «быта» и «почвы» своего народа, своей страны, включая Малороссию, Царство Польское и остзейскую баронскую Прибалтику, дали Лескову в его художественном отображе-

* Переводится как «голубиный английский» — название интернационального бесписьменного жаргона торговых моряков и портовых рабочих, сложившегося в девятнадцатом-двадцатом веках с преобладанием английских (Англия — владычица морей!) слов, с примитивной грамматикой, без склонений и спряжений.

нии столь великолепный язык. Только у него, прочитав случайно неполную страницу без указания имени писателя, никто не ошибется в авторстве! Как и у Достоевского, но у Федора Михайловича скорее по «семантике синтаксиса», если можно так выразиться без излишней зауми... Как бы неодобрительно сказал Лесков.

Не будем больше в этой части растекаться мыслью по древу. Достаточно прочитать любую его фразу, хотя бы эту, из «Однодума»: *«На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и «до Христа дочитался»*, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато такие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не бояться»*.

...Здесь весь Лесков, весь традиционный русский мир в его отображении великим русским языком — не прибавить, не убавить.

♦ Поскольку очерк этот привлечет внимание читателей со стажем, с советских, как правило, времен, то они и припомнят наиболее значимые в художественном плане произведения Лескова: «Соборяне», «Очарованный странник», «Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда», «Однодум» и «Чертогон», «Несмертельный Голован» и «Тупейный художник», «Зверь» и «Заячий ремиз»... чуть подумав, — «Грабеж», «Человек на часах» и «Старый гений». И уж подлинные ценители лесковского творчества — повествования «Кадетский монастырь», «Колыванский муж» и «Приведение в Инженерном замке». Стилизованный «Левша» еще при жизни автора разошелся на цитаты с его мелкоскопом, водкой-кислячкой, морским буреметром и смолевым непромокаблем, нимфазорией, графом Кисельвроде, досадной укушеткой и потной спиралью.

Но если бы Николай Семенович был известен только как автор первых трех из названных произведений, это обеспечило бы ему достойное место в пантеоне русской классики девятнадцатого века — с продолжением в век двадцатый, даже несмотря на всякие «комиссии Луначарского — Крупской», а вот о современном нам веке поостережемся говорить. Здесь Молох глобализации и расчеловечивания уже всю мировую литературу выбрасывает на помойку: в фигуральном смысле и в бытовом; пойдете вечером свое мусорное ведро опорожнять на квартальную помойку, там и книги непременно узрете... Впрочем, отвлечемся от грустного. Тема-то очерка иная по тональности.

...Если о досадных антинигилистических романах Лесков в период своей литературной зрелости и всероссийской известности старался не напоминать, а о явно неудавшемся ему, читаемом как бы и «нелесковское», цикле переложений античных и восточных легенд навряде «Невинного Пруденция», про которого автор писал (М. О. Меньшикову) *«... в этом томе есть гадостный «Пруденций», поставленный потому, что другое, несколько лучшее, касается духовенства, а мне уже надоело быть конфискуемым»*, и вовсе не вспоминать, то выстрадавший им (по части трудности публикации из-за цензурных препятствий) роман «Соборяне» Лесков, нарушая хронологию написания, поставил в начало заглавного тома его первого, прижизненного собрания сочинений, о котором выше говорилось. Значит и открыл это собрание «Соборянами», недвусмысленно сам для себя признавая роман *лучшим* из написанного им.

Первоначально «Соборяне» были опубликованы в «Отечественных записках», то есть в журнале, из которого с легкой руки и доброго глаза Н. А. Некрасова, а также Краевского, вышла вся великая русская литература второй половины девятнадцатого века, под названием «Чающие движения воды» — от евангельского «В тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды» (Иоанн).

...Здесь нелишним будет заметить, что у каждого из русских классиков была своя,

* То есть кто прочитал Ветхий Завет, а это 4/5 всего объема Библии, и дошел до Нового Завета (полное название: «Новый Завет господина нашего Иисуса Христа»).

отличная от других, «творческая мастерская». Если Пушкин и Лев Толстой многократно правили свои тексты, добиваясь высшей степени их совершенства; если Достоевский, торопясь к сроку выплатить свои игорные долги, вообще уже не прикасался к раз написанному*, то Лесков, обычно по требованиям цензуры (духовной ее ипостаси) и владельцев журналов (Катков, Суворин и др.), слов и строк не правил, а просто изымал из первоначального текста целые главы и части. Но особенно был он самопридирчив к названиям своих произведений, часто изменял их. Так было и с «Чающими движения воды», окончательно утвердившимися как «Соборяне» с подзаголовком «Старгородская хроника»; в современных изданиях — просто «Хроника».

♦ Н. С. Лесков пишет в «Смехе и горе» о русской жизни: *«Все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, и ездят отсюда за границу развлекаться (здесь и далее выд. Н. С. Лесковым. — А.Я.), тогда как я утверждаю... что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере я уезжаю отсюда за границу именно для успокоения от калейдоскопической пестроты русской жизни».*

Здесь Лесков вроде как противоречит своему земляку-орловцу И. С. Тургеневу, который издали, из этой самой европейской заграницы благодарил Россию за ее чарующий покой и простор, где нет «ни замков, ни лесов, ни гор» — речь идет об орловском, родном для него, равнинном предстепье. Но русский европеец Тургенев видит внешние разнообразия заграничной жизни с ее «замками, лесами, горами», противопоставляя им равнинный покой России. Лесков же первоочередно видит «внезапнейшие разнообразия» русской жизни — в противовес дисциплинированной безликости Европы — именно в многоукладности таковой, в исторически сложившейся индивидуальности русских характеров. То есть Тургенев и Лесков, имея по орловскому землячеству одни и те же «родные родники», именно лишь внешне противоречат друг другу. И не больше!

В «Соборях» в наивысшей полноте представлено это разнообразие русских характеров и «калейдоскопической пестроты» их жизни во внешнем спокойствии и дремотной тишине обычного уездного города. И сам роман начинается умиротворяющее: *«Люди, житье-бытье которых составит предмет этого рассказа, суть жители старгородской соборной поповки**.* Это — протоиерей Савелий Туберозов, священник Захария Бенефактов и дьякон Ахилла Десницын».

...Как у Достоевского в «Братьях Карамазовых» в лицах главных героев представлены три основных, преобладающих типа русских характеров, так и в «Соборях» обитатели старгородской поповки суть триединство — в полном внешнем, поведенческом различии — тех же русских типов. Их сугубая принадлежность к церковному клиру особого значения в данном обобщении на русскую жизнь не имеет. Как, впрочем, и религиозная устремленность Алеши Карамазова у Достоевского... Да и по внешним, образным и житейским, характеристикам все трое очень даже своеобразно различны. «Чающий движения воды», всю свою жизнь родеющий о возвращении Христовых норм морали современной ему русской православной церкви, как учреждения, так и особенно духовного жизненного начала, Савелий Туберозов, бездетно проживающий с тихой своей, любящей и любимой протопопицей Натальей Николаевной. И сам он высок ростом, хотя уже тучен, но еще бодр и подвижен, с «отлично красивой головой», с волосами «как кудри Фидиева Зевса».

Кроток и смирен, тщедушен телом, чуть старше Туберозова его подчиненный,

* Не вспомню, кому и по какому поводу Федор Михайлович говорил в том смысле, что хорошо было Льву Толстому с его усадьбой и доходами бесконечно отшлифовывать свою «Войну и мир», а у меня долги и обеспечение жизни семьи, торопиться надо... Что-то в этом смысле.

** Традиционно церкви в селах, отчасти даже в городах, ставились несколько обособленно от других зданий, на самой высокой точке местности, а рядом с церковью — поповка, жилые дома церковного причта: священника, дьякона, дьячков и причетников...

второй соборный священник Захария Бенефактов, счастливый отец множества детей мал мала меньше. Просто уездный попик без какого-либо полета мысли и вдохновения. Весь колорит обитателей старгородской поповки вобрал в себя дьякон Ахилла, холостякующий, громадный и по характеру словно запорожский казак с известной картины Репина, волею судеб облаченный в церковное одеяние, с истинным дьяконовским басом. *«Недостаточно, думаю, будет тебя и дубиной называть, поелику в моих глазах ты по малости целый воз дров»*, — так определил Ахиллу ректор духовного училища, которое тот так и не завершил, будучи отчисленным на причетническую должность в архиерейский хор. И из хора за «уязвленность» характера Ахиллу изгнали, отправив на дьяконство в Старый Город. При избушке своей он постоянно держал верховых, под казацкое седло, скакунов.

♦ Итак, три лесковских типа русских характеров, внешне, по образу жизни и занятиям, отнесенным к священно (Туберозов и Бенефактов) — и церковно (Ахилла) служителям. Если «чающий движения воды» Савелий Туберозов суть духовный подвижник, устремленный к моральным идеалам, в крохотном, уездном масштабе слепок с учеников-апостолов Христа, то Захария Бенефактов и дьякон Ахилла есть олицетворение народных типов, всецело водительствоваемые словами и убеждениями своего протопопа. Ахилла — первозданная стихия без удержу во всем, а тихий и щедушный Бенефактов — скромный, безпретенциозный труженник: на какое место поставили, на том и пригож своей безропотностью и исполнительностью.

И если у Гоголя мчится, рвется непонятно куда и в какие просторы-окоемы, пугая чужеземные народы, тройка Русь, а у Достоевского та же тройка братьев разламывают русскую жизнь на морально обособляющиеся части — от «карамазовщины» до святого во плоти Алеши Карамазова, то вот у Лескова нет ни гоголевской вздыбленности, ни разлома Достоевского, а на уездном пространстве русской равнины и во времени жизни до почти одновременной кончины (*«Старгородская хроника кончается, и последнюю ее точкой должен быть гвоздь, забитый в крышку гроба Захарии»*) обитателей соборной поповки разворачивается сценарий *глубокого единения* столь внешне непохожих, во многом противопоставленных образов и характеров — соборности русской жизни в ее диалектическом единстве и противоречии. Слово «борьба» в гегелевской этой формуле здесь не совсем к месту... И остальные герои романа, старгородские обитатели в их композиционном взаимоотношении друг с другом, а главное — с основными персонажами хроники, все вписываются в таковое единение и сокращенную формулу Гегеля.

Не особо далеко ушел в духовном философствовании Савелий Туберозов, да он и не стремится к какому-либо первенству, даже в мыслях не замахивать на что-то первооткрывающее. Как пишет Лесков в «Захудалом роде»: *«Если бы Вольтер знал этого нашего земляка, то он должен был бы сознаться, что не ему одному казалось удобнее молиться после обеда, чем перед обедом, но наши натуральные философы, вероятно, никогда не получат известности, постоянно превосхищаемой у них чужеземцами»*.

Но дело свое туго знает, стоя за истинную православную веру. И жизнь его сплошные тернии и обиды со стороны церковного начальства, мало чем отличающегося в административно устроенном государстве от иных ведомств и канцелярий.

...Все же не борения духовные протопопа Туберозова, не тихость и исправная служба священника Бенефактова, не сплошные чудачества наивного в душе, аки младенец, дьякона Ахиллы, не широко развернутый в романе уездный быт создают «Соборянам» ни с чем не сравнимый колорит с оттенком истинной русскости — даже в наималейшей степени не приукрашенный в смысле нарочитой стилизации. Нет в нем и намек на «роман с направлением», хотя бы на его страницах очень даже активны карикатуры на «нигилистов» уездного рóзлива: те же учитель Варнава Преподтенский, чиновница Бизюкина, прохиндей с большой дороги Термосесов — явный

шарж на Петра Верховенского из «Бесов» Достоевского. И нет сколь-либо декларативного обличения. Не считать же за таковые насюки глуповатого Варнавы: «*Вы читали Тургенева? «Дым»... Это дворянский писатель, и у него доказано, что в России все дым: «кнута, и того сами не выдумали».*

Словом, если подходить к «Соборьям» с бытописательской стороны, то ведь Лесков вроде ничего нового не сказал, что «упустили» русские писатели, так сказать, первого ряда, те же Тургенев и Достоевский, и — особенно — истинные бытописатели, современные Лескову: Глеб и Николай Успенские, Писемский, Помяловский и... еще два-три десятка имен, у которых даже более выпукло, характерно выписаны священники, мещане, купцы, чиновники всех ведомств, губернский и уездный бомонд, чудачи и чудики всех мастей, которыми так обильна провинциальная русская жизнь. В «Смехе и горе» Лесков пишет: «*Так вот-с, сударь,— заговорил, выпрямляясь во весь рост генерал,— вот вам в наш век кто на всех угодит, кто всем тон даст и кто прочнее всех на земле водворится: это — безнатурный дурак* (выд. Н. С. Лесковым.— А.Я.)!»

— И таковые персонажи не Лесковым одним выведены.

А неподражаемый колорит «Соборьян» именно в их *невыдуманной* списанности с живого полотна русского быта, чем отличается в своем творчестве Лесков... нет, правильнее сказать: чем выделяется он на фоне всей обширной по дарованиям великой русской литературы ее золотого века. Из всей великолепной тройки выдающихся «орловцев» — Тургенева, Лескова и Бунина, только у Николая Семеновича не персонаж развертывает сюжет, но последний создает персонажа с его сугубым характером. «Безнатурный дурак», ревнитель истинной христовой веры, матерый уездный или губернский чиновник, вольтерьянствующая дама, глуповатый «постнигилист», отчаянный правдолюб с наивной душой ребенка и так далее — все они у Лескова, а особенно в «Соборьянах», хотя бы в неравных долях, но являются равноправными движителями сюжетного полотна. Главное и существенное — они же все *непорицаемые* вышли из-под пера автора, как *непорицаема* сама русская жизнь с ее «внезапнейшими разнообразиями».

Опять же в рамках «великолепной тройки» этого мы не находим у Тургенева, стоявшего у истоков «романов с направлением». А у Бунина, коль скоро свою замечательную прозу, «Жизнь Арсеньева» и «Темные аллеи» первоочередно, он создавал во второй половине своей творческой жизни, в <добровольном> изгнании, то в ней превалирует асимметрирующее вырисовывание характеров, нота тоски по ушедшей для него русской жизни. Непроизвольно при чтении эмигрантской прозы Бунина возникает почти осязаемый музыкальный фон, а именно — известный полонез Огинского...

♦ В вырисовывании характеров своих героев Лесков, прошедший всю <европейскую> Россию вдоль и поперек, меток в использовании фольклора: «На трудовые гроши годовой псалтыри не закажешь», «Земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток», «Бог пристанет и пастыря приставит»... А в «Грабеже» персонажи и вовсе из писания изъясняются: «Егда люди потрапезуют и, помоляся уснут, в тот час восстают татие и исходя грабят».

Это мы опять возвратились к языку произведений Лескова, но в том аспекте, что, мысля научными категориями, язык не просто способ общения людей. Или, как сейчас навязчиво талдычат,— способ передачи межличностной информации... последнее слово чем-то суконно-цинковым отдает; так и лезет при его упоминании в голову «инфузория». Ну-у, это все к тому же все слову, а понятие языка далеко не так просто определяется, а именно: язык есть сугубый, основной, пожалуй и единственный, предмет логики, ибо язык суть средство познания, ибо последнее реализуется в языке, посредством языка. Любые же продукты познания всегда фиксируются в языке. Мы не столь самонадеянны (тому сдерживающее начало в симбиозе нашего военно-

морского, заполярного и старообрядческого воспитания — о последнем см. у Лескова всеподробнейше...), чтобы приводить такое определение языка без ссылок, например, на мнение выдающегося советского и российского ученого, философа и публициста А. А. Зиновьева, создателя комплексной <многозначной> логики. Но — ближе к сути развиваемой мысли.

Трансформируя определение связи языка, логики и познания для ареала литературного творчества, а еще конкретнее — для творчества Лескова, можно <уже со ссылкой выше на авторитеты науки> утверждать, что непорицаемость отображаемой Лесковым русской жизни, как творческий акт познания, является логически непротиворечивой в части ее, русской жизни, реальности, подтверждающим свидетельством чего является сугубая языковая специфика произведений Лескова. Именно в таковой специфике, где современный автору язык, в сумме своей и в образности от просторечия до всевозможных сословных, образовательных, включая «образованщину» и иных аргоизмов, органично и ненавязчиво переплетается с «живыми» фольклорными и диалектическими истоками русского литературного языка, и сложился феномен лесковской словесности. Надеемся, не запутали в таковых определениях нашего читателя...

Конечно, понятна «языковая направленность» в отдельных, хотя и многих, произведениях Лескова: уже упомянутая стилизация и неологизация в «Левше», чисто орловский говор в «Грабеже», язык купцов в «Чертогоне» и так далее. Но именно в «Соборяхнах», «Очарованном страннике» и «Запечатленном ангеле», несмотря на религиозно-догматическую сюжетную линию последнего, в полной мере явлена *непорицаемость* русской жизни, что во многом достигается указанной выше специфической структурой языка Лескова. Извиняемся за казенное слово. Кстати, коль скоро употребили «казенное», то вспомним, что одним из основных доводов официального — синоним казенного — литературоведения двадцатых — начала пятидесятых годов, когда Лескова практически и не печатали, что-де произведения данного автора «невостребованы советским читателем и пр.», являлись упреки в чрезмерной церковности и «реакционной поповщине». Воистину здесь Лесков оказался между «долгоиграющими» молотом и наковальней: если после революции комиссионеры от Луначарского и Крупской «упразднили» Лескова за эту самую поповщину, то царская цензура и редактора журналов — от «реакционера» Каткова до либерала Суворина — воистину пропускали «Соборяне», повести и рассказы с сюжетами, имеющими отношение к церковной жизни, через евангельское игольное ушко... в другом, разумеется, контексте. И если «комиссионеров», в духе тогдашней «воинственной безбожности» (так именовалась организация Губельмана — Ярославского), вообще упоминание о церкви не устраивало по идеологическим доводам, то императорскому Свщ. Синоду русской православной церкви, как сугубо государственно-бюрократического учреждения, в произведениях Лескова претило незауавалированное разделение автором (мы уже касались кратко этого выше) церкви-учреждения и церкви-духа Христовой морали. Кстати, по той же причине Синод противостоял Льву Толстому. Правда, руки коротки у Синода оказались против мирового классика, так что решение о временном отпадении Толстого от русской православной церкви (ни в коем случае не отлучение, тем более не анафематствование, как писали и пишут СМИ, одинаково безграмотные и тогда и сейчас...) скорее знак бессилия Синода. А вот Николай Семёнович мировой известности не имел, да и не мог иметь ввиду подчеркнутой русскости (а таковая всегда Европу раздражала!) своих произведений. С другой стороны, не мог себе позволить ссориться с цензурой, тем более с Синодом, ибо являлся профессиональным писателем, то есть жил исключительно «тощими литературными опресноками» (см. выше), толстовских имений в Ясной Поляне и в Поволжье не имел... Это не в упрек гению русской словесности, но — сугубо к слову о Лескове.

Наконец, по определению своего характера и своего творческого кредо, Лесков и

не мыслил «торговать убеждениями», которые он так определял (в письмах к С. Н. Шубинскому, своему постоянному корреспонденту, от 17 и 20 августа 1883 г.): «Скучно, тяжело и вокруг столь подло и столь глупо, что не знаешь, где и дух перевести... Все истинно честное и благородное сникло,— оно вредно и отстраняется,— люди, достойные одного презрения, идут в гору... Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?»

...И ничего иного Лескову не оставалось, блюдя свою литературную честность, не ссорясь с цензурой и Синодом, дабы не лишиться потребных для <физической> жизни «литературных опресноков», как со скорбью и внутренним гневом соглашаться на урезание «ножницами цензора» своих произведений целыми главами и даже частями... История публикации «Соборян» тому ярчайший пример. У Андрея Лескова в его книге об отце это подробно описано.

◆ ...Если дело в мире — с изоляцией России — под водительством Великого глобализатора, он же Великий инквизитор Достоевского, и дальше столь успешно пойдет, в чем сомнений нет, то скоро уже мало останется русских — в смысле из России — людей, что вживую лицеизрели с высокого киевского берега с монументом князя Владимира с крестом низменную черниговскую заднепровскую сторону. И соединяющий их мост, построенный академиком Патонем — вроде как в последние полвека он не перестраивался. *Nostalgia*.

А первый киевский мост через Днепр был построен английской компанией в середине позапрошлого века. Строился он под управлением английских инженеров набранными по всей России артелями каменщиков, преимущественно из старообрядцев, людей трезвых и умелых в своей профессии, строился четыре с лишним года на каменных быках цепным висячим (сразу вспоминается визитная карточка Лондона с характерного вида мостом перед Тауэром...).

Как всякое долговременное действие с привлечением множества рабочего и — особенно — досужего народа, да еще в таком крупном городе как Киев, оно породило множество былей, слухов и просто анекдотов. Впрочем, в те благодатные и честные времена, но несколько растяпистые, и анекдоты срисовывались с действительно бывшего, хотя бы и преувеличенного. Одна из таких анекдотических былей рассказывает о некоем калужском каменщике, что был послан своими артельщиками во время пасхальной заутрени по натянутым уже цепям (но еще без мостовой!) с киевского берега на черниговский за водкой, которая там продавалась много дешевле. Иным способом переправиться с берега на берег было невозможно из-за ледохода. Закупившись, каменщик повесил бочонок водки себе на шею и балансируя взятым в руки шестом, возвратился на киевский берег, выполнив заказ товарищей-артельщиков. Как говорится, дорого яичко в пасхальный день. Попутно заметим, что по церковному уставу поздравлять с пасхой дозволяется до самой Троицы, то есть сорок дней...

О происшествии с героическим калужским каменщиком и сам Лесков в «Печорских антиках» пишет — через десять лет после напечатания в «Русском вестнике» своего «Запечатленного ангела», один из центральных эпизодов которого рассказывает о переходе в ледоход через Днепр по натянутым уже цепям строящегося моста артельщика — старообрядца с черниговской стороны на киевскую. Но уже не с бочонком водки, а с изготовленной изографом точной копией высокочтимой староверами иконы ангела-хранителя. Следовало ее срочно, пока рождественская (на Днепре иной раз и под рождество лед трогается) служба не закончилась в киевской монастырской церкви. Доставить туда и тайно подменить новоделом оригинальный образ, конфискованный по доносу властями у старообрядцев-артельщиков и «запечатленный», то есть проштемпелеванный сургучной печатью прямо по лику ангела.

...А столь пространное вступление к «Запечатленному ангелу» мы по той причине предпослали, чтобы показать: все сюжеты у Лескова именно с реальной жизни

взяты, не нафантазированы! (см. его высказывание выше — «литература есть записанная жизнь»), хотя бы и трансформированы самым решительным образом. Даже «с пьяного на святое», как в «Запечатленном ангеле». Характерно, что именно Достоевский (а о их с Лесковым «холодных» взаимоотношениях уже говорилось) дал очень верное определение своеобразия речи персонажей и авторского описания у Лескова, впервые с такой же полнотой проявившееся в «Запечатленном ангеле». Это дорогого стоит! Такое же своеобразие Достоевский, очень даже положительно оценивший это произведение, назвал *эссенциями*, то есть персонажи Лескова говорят не как «по записанному», чем многие писатели грешат, но — здесь мы попробуем расшифровать определение *эссенции* Достоевского («Дневник писателя», статья «Ряженный»^{*}). Для чего мы собственно и выделили особо рассмотренные «Запечатленного ангела» в данном очерке.

Достоевский особо указывает на «нетипичность» характерного языка произведений Лескова, то есть это не некая литературно-книжная усредненность, которую «публика хвалит, ну а опытного старого литератора не надуете». Но ведь и разборчивой публике не всегда потрафишь этим «типичным языком»? Вот здесь-то и появляется тот круг читателей, как он появился к началу — первой половине 1880-х годов у Лескова, все более и более разрастающийся — в итоге сравнимый со всей читающей Россией, — в восприятии которого непроизвольно, подсознательно, совершается отход от *типического* к *эссенциальному*, то есть языку *единичного*, своеобразного... хотя бы язык Лескова есть *квинтэссенция* непридуманного, «непричесанного» (под литературную традицию), истинного русского языка! Так мы поняли высказывание Достоевского о «Запечатленном ангеле», расширив его на все творчество зрелого Лескова.

На фоне такой *эссенции* в том же «Запечатленном ангеле» у читателя даже не возникает вопроса об определенной направленности этого повествования, которая суть тема русского старообрядчества; как тогда было принято его называть в России. Сам Лесков, тем более имевший в родословной священников официальной русской православной церкви, которую, в свою очередь, даже сейчас мои родственники-староверы иначе как *никонианской* не именуют, в быту и творчестве не совсем одобрительно, точнее — неодобрительно, относился к староверчеству. В тех же «Соборных» живущие в Старом Городе раскольники малосимпатичны и вредны для духовно-нравственного порядка. Сам Лесков составил такое мнение, что называется, по-книжному (сам этого не отрицал), в основном, по художественным («В лесах», «На горах») и публицистическим («Очерки поповщины») произведениям Мельникова-Печерского. Тот же, в свою очередь, являясь председателем государственной комиссии по изучению современного быта и пр. старообрядцев, относился к ним хотя и вдумчиво, объективно, но — с позиций официальной русской православной церкви.

Однако в «Запечатленном ангеле» Лесков вовсе не останавливается на религиозно-догматических сторонах старообрядчества, но в это время он очень заинтересовался древнерусской живописью, то есть иконописанием, изографией. Из его переписки и воспоминаний сына Андрея в «Жизни Николая Лескова» видно, что писатель внимательно ознакомился с самыми известными трудами по старорусской иконописи. То есть Лесков обнаружил для себя в раскольниках-старообрядцах единственных и ревнительных хранителей древнерусского искусства, поскольку староверы признавали и почитали только старописанные иконы дониконовской поры — допускались и новоделы, но написанные по старинным образцам или просто в стилевых манерах ранее признанных старорусских иконописных школ. Так и в «Запечатленном ангеле» изограф Севастьян, приглашенный старообрядцами-артельщиками для написания

^{*} На нее указывает составитель примечаний к Т. 4 Собрания сочинений Н. С. Лескова в 11 тт. И.З. Серман, С. 544.

копии иконы ангела-хранителя, придерживается традиций строгановской школы «мелкого письма» (строгановская школа возникла из новгородской в Сольвычегодске и Великом Устюге — изографы, переселившиеся в эти города из Новгорода). Сохранять же старописанные иконы старообрядцами было делом сложным и небезопасным. Вот и Лесков в «Запечатленном ангеле» описывает как поступали чиновники от официальной церкви с конфискованными старыми святынями: иконы просверливали (напомним, что иконы пишутся на досках), нанизовали столбцом на металлический прут с винтовой резьбой на концах, завинчивали гайками, припечатывали сургучом (см. выше) и складывали в сырых подвалах монастырей или консисторских губернских епархиальных управ.

...Пресловутые «большевики» себе этого не позволяли. Так перед взрывом храма Христа Спасителя все иконы, фрески и пр. изымались и направлялись в музейные хранилища.* Но — это к слову опять же.

Короткое резюме у этому разделу очерка: даже в произведениях, в которых в той или иной степени проявляется авторское «направление», как в «Запечатленном ангеле» сугубо художественный интерес Лескова к старорусской иконописи, что было бы невозможным встроить в композицию без персонажей из староверов, писатель, в силу данного ему «нетипического» таланта, достиг все того же эффекта *эссенции* — по определению Достоевского, *единично* присущего «очарованному страннику» русской литературы.

♦ В том же 1873 году, когда был опубликован в «Русском вестнике» «Запечатленный ангел», в семнадцати номерах газеты «Русский мир» печатается новое произведение Лескова под <первоначальным> названием «Очарованный странник, его жизнь, опыты, мнения и приключения. Рассказ. Посвящается Сергею Егоровичу Кушелеву». Жанр «рассказа», определенный автором, надо понимать условным, ибо это классическая «повесть в квадрате»: по жанровому построению и собственно по композиционному приему: пространный рассказ монастырского послушника-черноризца Ивана Северьяновича Флягина своим слушателям — пассажирам плывущего по Ладожскому озеру — о всей своей жизни, изобилующей самыми невероятными, но не фантазийными, а волею непредвиденного случая выпавшими, событиями и приключениями. Литературоведы, что называется сходу, сравнивают «Очарованного странника» и с гоголевским Чичиковым (по композиции), и с романом Фенелона о путешествиях Телемака в поисках Одиссея, и много еще с чем. Не совсем корректным было бы искать сравнения с многоликим двадцатым веком, поэтому упомянем только «Улисса» Джойса и упомянутый выше в сноске роман «У» Вс. Иванова... Другие параллели читатель мигом подберет.

Не слишком большая беда — для повести, конечно, не для несколько огорченного автора, — что современная ему критика оставила без внимания (может просто не поняла?) такую художественную новацию Лескова в «Очарованном страннике», как «бесцентровость» (это Н. К. Михайловский пишет: *отсутствие какого бы то ни было центра*)) повествования, то есть отсутствие единой, центральной фабулы, а дробление последней на «нанизанные» друг на друга взаимосвязанные фабулы в рассказе Ивана Северьяновича. Навроде как у Гоголя и Лермонтова — но не подражательно, само собой, а в своей, сугубо лесковской, художественной манере. Впрочем, оставим все это самим литературоведам... Мы же пишем об «очарованном страннике» — Лескове — по нивам русской литературы, художественными средствами которой, но в своем, *едином* своеобразии, писатель и очаровал всю читающую Россию.

... Не случайно мы выше оговорились по части жанра «Очарованного странника», что-де это есть повесть по всем литературным канонам, а не названная Лесковым

* В частности, это описано очевидцем, известным советским писателем Всеволодом Ивановым в романе «У», кстати, только один раз изданным — в библиофильской серии «Из литературного наследия» (Иванов В. В. «У», Дикие люди. — М.: Книга, 1988. — 399 с., тираж 15000 экз.)

«рассказом». Я, что называется, читательски, а потом и писательски, «вырос в Лескове» — позволю себе повториться в этом очерке. А Николай Семенович суть непревзойденный в русской литературе рассказчик — не по формальному определению этого жанра, а именно *всежанровый рассказчик*. Потому все его художественные произведения, да отчасти и литературная публицистика, суть *рассказы*.

...В наше славное время «административный регламент» и до изящной словесности добрался. Вот и литературные журналы, как-то и не сговариваясь между собой, уже явочным порядком «таксу объема» пожанрово ввели, в каковой рассказу отведены десяток-полтора стандартных машинописных страниц, то есть половина авторского листа. В таких ежовых руковицах Николаю Семеновичу было бы недобровольно. Да он и сам, как человек по жизни малосдержанный и вспылчивый, а в домашнем быту (см. «Жизнь Николая Лескова») и вовсе дисциплинирующий домостроевец, перестал бы в оные «куранты» корреспондировать. Опять мы к окончанию очерка отвлеклись на злободневность...

«Очарованный странник» есть повесть, рассказанная *очарованным персонажем* — Иваном Северьяновичем — и больше ни полслова о жанровой классификации! Но опять же вездливые литературоведы — но ведь это их профессия, что отчасти извинительно для них — после появления «Очарованного странника» тотчас разобрали по косточкам самые характерные эпизоды странствия Ивана Северьяновича: десятилетний плен его у астраханских степных кочевников? — так это же толстовский «Кавказский пленник»! А сюжет с князем и выкупленной им из табора цыганкой Грушей — ведь прямая перекличка с известным персонажем Лермонтова... И в своей профессиональной увлеченности как-то отстраняются они от фактора *типичности*, но не в смысле определения Достоевского, о чем выше говорилось, но о *типичности русской жизни*. Разве не типичен Печорин во всем девятнадцатом веке, хотя и в совершенно различных ипостасях? Ведь не от Байрана же «лишние люди» пришли в русскую жизнь? — Хотя бы в литературных образах и есть определенные наметки на преемственность «байронической тоски» в обликах Онегина и Печорина. Типичность же «пленников» не подлежит сомнению: слишком много, почти постоянно, Россия вела окраинные войны с полудикими племенами, а если и не вела их с «мирными» инородцами, то они-то еще жили по своим племенным законам. Много было кавказских и азиатских пленников, что стали уже литературными типами.

Наконец, цыганка Груша из табора, сами цыгане — это всероссийский колорит России. Ну-ка, назовите навскидку хоть одного русского писателя, который бы «обошелся» без цыган — от их конского воровства и жульничества до знаменитого: «В Стрельну! К «Яру»! К цыганам, господа!» ...Только к началу века двадцатого цыганские хоры потеснили несколько «румынь». Впрочем, те же цыгане, но только прибывшие в российские столицы на заработки из Румынии и называвшие себя влахами (дунайское княжество Валахия — самоназвание будущей Румынии).

Легко отыскивать аналогии в типичном, но создать нетипичную *эссенцию*, используя типичные сюжеты обыденной русской жизни, есть задача своеобразного писателя. Это мы, конечно, о Лескове говорим.

«Проговорив это, очарованный странник, как бы вновь ощутил на себе наитие вещательного духа и впал в тихую сосредоточенность, которой никто из собеседников не позволил себе прервать ни одним новым вопросом. Да и о чем было его еще больше расспрашивать? повествования своего минувшего он исповедал со всею откровенностью своей простой души, а провещания его остаются до времени в руке сокрывающего судьбы свои от умных и разумных и только иногда открывающего их младенцам».

Этими проникновенными словами завершается «Очарованный странник». Полагаем, что этимология слова «провещания» понятна читателю...

♦ Настоящий очерк не есть, даже в сколь-либо малой степени, литературоведческим анализом отдельных произведений Лескова. Даже некоторый акцент на «Соборьянах», «Запечатленном ангеле» и «Очарованном страннике» есть не разбор их содержания, улавливание «направлений» и пр., но просто подчеркивание их наибольшей имманентности главенствующей творческой манере писателя. Таким образом, в части такового (отсутствующего у нас) «обзора» очерк этот рассчитан на читателя, в определенной степени знакомого с произведениями Лескова, хотя бы с теми из них, что и через полтора столетия ни в малейшей степени не утратили своей художественной значимости. Про пресловутую «актуальность» умолчим, поскольку таковая для произведений этого рода есть всего лишь «служебная канва». Как нотный стан для композитора. Сознаемся, несколько неловкая аналогия, но по существу верная.

Тем более об актуальности, не только в отношении Лескова, но и всей мировой классической литературы, неудобосказуемо даже случайно вспоминать при нынешнем торжестве Великого глобализатора; вполне достижимым, причем в самое ближайшее время, «идеалом» члена социума, глобализованного по всему земному шару, является умозамещенный человек-цифрофреник. А по Лескову — им определенный «безнатурный дурак».

Даже об актуальности норм христианской морали с ее двухтысячелетним торжеством в осязаемой части мира, которой пронизано все творчество Лескова, сейчас не стоит говорить, поскольку эти нормы сведены к нулю.* В тех же Европах — Америках остались лишь церкви-учреждения, как внешний артефакт «пройденного историей» христианства, а собственно от Христовой Нагорной проповеди и Заповедей блаженств Нового Завета — то, что мы называем «моралью по вызову».

Опять же объясним преамбулу последнего раздела очерка. Тем более, что ввремя эта «актуальность» подвернулась на кончик пера (пишу только «от руки» и уже два десятка лет паркером, подаренным — после успешной защиты — моим самым умным аспирантом...).

В своем бессмертном «Левше» Лесков писал: *«Машины сравняли неравенство талантов и дарований, и гений не рвется в борьбе против прилежания и аккуратности».*

Не подлежит сомнению, что такое «сравнение» писатель провидчески (уже сама его действительность подсказывала!) переносил и на все остальные, доселе творческие, рода деятельности человека. Нам же, живущим в «час волка», он же, говоря по-военному, *день X* торжества Великого глобализатора, и разъяснять что-либо подробно излишне.

С таких позиций творчество Лескова с его отличительной художественной манерой вроде как тоже по части артефакта давно минувших «творческих эпох» (это название цикла произведений Ромена Роллана, потому в кавычках) проходит. Действительно, социуму безнатурных дураков, хотя бы пока еще (у нас) пассивно, явочным порядком сопротивляющемуся <см. выше> переходу на американо-нижегородскую мову под управлением СМИ, умозамещению и даже директивному — не мытьем, так катаньем — оцифровыванию, Лесков не нужен с его обитателями старгородской соборной поповки, очарованным странником Иваном Северьяновичем Флягиным и разноликими персонажами «Запечатленного ангела». Иные времена, нравы и образцы для поддержания, в основном, по части общечеловеческих ценностей, то есть доллара и евро. А скоро может и юаня.

Но не так скоростижно и просто избавить человека, даже искуснейшему Великому глобализатору, от генофенотипической памяти. Допустим, проснется посреди ночи в полнолуние иной почти что *обезнатуренный*, но еще не полный дурак... отчет-

* См. в нашей естественно-философской и литературно-публицистической диалогии «Апология христианства» и «Апология человека» (в электронной форме на сайте www.pz.tula.ru и других сайтах — по поисковому). В 2020 году эта диалогия была удостоена православной литературной премии им. Святителя Макария, митрополита Алтайского.

го проснется? — А может на ночь фастфуда или иной пищевой химии переел, либо сериалов на американо-нижегородском наречии с бройлерными инкубаторскими кобылицами пересмотрел... да мало ли *актуальных* причин наберется; главное факт — проснулся в час третьей стражи, где-то между двумя и тремя ночи. Посмотрел со своей «досадной укушетки», как у атамана Платова в «Левше», в незашторенное окно, а там в угольно-черном небе серебром сияет полная луна в полной тишине спящих городских улиц, проспектов и переулков. Ни единого взвизга частнособственнических авто отверточной сборки: канули в лету веселые девьяностые и нулевые, когда на всех улицах всю кипела ночная жизнь... Да и бензин в самой нефтедобывающей стране все дорожает и дорожает. Почивают в своих «хрущевках» старшие поколения, поминая добром советскую жизнь, которую так напоминают тихие по ночам улицы и т.п.

Глядит почти что обезнатуренный на полную луну; и по законам биологии, физиологии и психологии начинает он, как в явлении дежавю, вспоминать вовсе не с ним бывшее, но с далекими предками, например, по времени, от скорого ожидания благодетельного избавления от крепости с дарованием земли* царем Александром Освободителем до окончания земных дней другого Александра, который звался Миротворцем. Не то что конкретное из далекого быта видит неурочно проснувшийся, но *in summa* всю тамошнюю жизнь всеми органами чувств, сознанием и подсознанием ощущает.

Удивительную умиротворенность он в голове ощущает, как следствие мигом забытых умозамещения и цифрофрениии, телящика с его инкубаторскими сериалами и американо-нижегородским языком (словарный запас фифти-фифти по 250...300 слов американских и из обычного русского языка), одуряющего «инта» с его 99 %-м информационным шумом. Где-то далеко-далеко, на окраине империи, промозглый чиновный Петербург; поближе и породнее Первопрестольная с ее размеренностью, купцами-миллионщиками и тысячниками, иной торгово-мещанской мелкотой и сорока сороками золоченных церковных куполов. А на бескрайней равнине, она же «равнина русской словесности», на берегах неспешных рек, далеко текущих до Черного и Белого, Балтийского и Каспийского морей, старинные губернские и уездные города, меж которыми многие тысячи сел и деревень. Всюду несуетная жизнь течет, подобно тем же неспешным рекам, на лоне почти что первозданной природы: только леса под пашни за тысячу лет заметно повырублены, да железная дорога, «чугунка», уже начинает разбегаться от Москвы на все четыре стороны империи. В заутреню, обедню и вечернюю службу по всей равнине колокольный звон: от одной колокольни до другой**, не обойдет он ни одни уши.

...Забытый сейчас исторический сочинитель Загоскин в романе «Юрий Милославский, или русские в 1612 году» (если только не ошибся в точности названия?) писал что-то в таком смысле: *добрый* наш народ, купцы и крестьяне, бояре и стрельцы, шиши (то есть разбойники) и пр. Обширно понимаемая доброта и в характере разнообразнейших жителей той великой равнины. Незлобивы помещики, если только не дурашливы от прежней вольницы. А если порой и впадут в дурь, то — ведь это в любом русском человеке может проявиться. Основное по численности население — тягловые крестьяне, барщинные и оброчные до реформы, как при барине жили в общине, так и вольными в ней остались — до стольпинского ее разрушения и окулачи-

* При всем уважении к советской школе, заметим, что в курсе истории как-то невнятно (идеологическая установка!) пояснялась великая реформа 1861-го года: дескать, освободили крестьян, но за землю многие выплачивали «выкупные» до 1905-го года... В действительности крестьяне освобождались с достаточным земельным наделом в 4—5 десятин (десятина = 1,6 гектар), за который с помещиками расплачивалась казна...

** В густонаселенной срединной России сельские церкви ставились на возвышенных местах с тем расчетом, чтобы с верха колокольни можно было увидеть таковые же окрестных храмов.

вания. Нелегкое дело примитивное землепашество, да исстари привычное, как говорится, ни слез умиления здесь не лить, ни преувеличивать страдания: все соответствовало веку и стране. Сельские батюшки и кабатчики-целовальники, старосты барские, а опосля выборные, наезжающие приставы и исправники, судейские — все при своем деле, для кого-то правом, для иных не своем. А потом земская, судебная, воинская и другие реформы облегчение крестьянству доставили.

В городах другой расклад, несколько отличный от сиволапого деревенского и помешичье-усадебного, но характеры все те же исконно русские. Духовенство пообразованнее, умеренно запьянцовское. Типичность — в лесковском Захарии Бенефактове, но нередки и правдолюбцы как Савелий Туберозов. Русский же дьякон, кочующий из романа в роман нашей классики, всегда Ахилла в том или ином своеобразии... как, например, дьякон Ферापонт в «Угрюм-реке» В. Я. Шишкова. Все они одним ахилловым миром мазаны...

Городские купцы, приказчики, мещане и ремесленники тоже по сущности своей незлобивы. Немного смешновата городская интеллигенция, учителя, врачи, земцы-статистики, но это скорее от их растерянности: дел много, а их мало. Опять же темнота простонародная. Как Лесков пишет: *«Когда летом 1892 года, в самом конце девятнадцатого века, появилась в нашей стране холера, немедленно же появилось и разномыслие, что надо делать. «Врачи говорили, что надо убить запяную (вибрион холеры. — А.Я.), а народ думал, что надо убить врачей»* («Импровизаторы (картинка с натуры)»).

Великолепно и обширно городское, особенно губернское, чиновничество. Оно похитрее всего остального народа — чины обязывают! Но русские ведь люди; как дети радуются трудами <порой несправедливыми> выслуженному статскому ордену: *Владимиру* ли, *Анне* или *Белому Орлу**. И чиновники нерусского корня, остзейские немцы и поляки, которых цари весь век расселяли из вечно бунтующей Польши по просторам России (бунтовщиками заселяли Сибирь, а шляхту — потенциальных заводил бунтов — чиновниками по губернским и уездным городам Европейской России), очень быстро ассимилировались по части приобретения местных нравов и характеров...

Даже не заставшему советскую эпоху самого читающего в мире народа, замороженному полной луной проснувшемуся в час волка Обезнатуренному вся эта пестрота старинной русской жизни как наяву представилась. Поежился тот от такого чудного видения, и хотя почти непьющий (баранку своей машины с утра до вечера крутит, работенка разъездная), но сходил на кухню, ввел в организм стопарик поддельного самогонного вискаря — соображать по случаю видения наяву ловчее стал, потянуло на вольнолюбивые рассуждения самле-собой, вовсе не свойственные по жизни суетной. И обычное отупление, вязкое почти что наощупь, уступило место полнейшей ясности мысли. Думалось с вдохновляющим восторгом: да какая же разнообразная жизнь была во время оно! Вроде бы и нелепая, дурашливая порой, где неприглядная, а у кого-то довольственная, но ведь не прикованная виртуальными, зато самыми крепкими, цепями к компу, своей китайской машине отверточной сборки, к дурману телеящика, к вечной погоне за деньгами... а зачем они, деревянные или зеленые, окромя как на жарчку и ширпотреб? Если подумать, то и незачем.

Так зачем налитая тусклым серебром полуночного света полная луна разбудила его и подсунула такое странное видение? Еще ясно стало в голове после второй стопки виски подмосковной фабрикации, мысль ощупью подбиралась к возможному ответу на заданные им самому себе вопросы. Не приученная к функциональной гра-

* Высший польский орден. После включения Польши в состав Российской империи при Екатерине Второй, польские ордена (Белый Орел, Станислав, Виртути милитари и др.) были включены в число все-российских наград, то есть независимо от национальных (тогда ее заменяло вероисповедание) и места проживания награждаемых.

мотности мышления голова Обезнатуренного, пусть в неловких, ломаных по синтаксису и логике, фразах, все же вплотную приблизилась к ответу. С его <условного> разрешения переведем таковой ответ на *русский* язык.

Видение далекого прошлого, на расстоянии пяти-шести поколений пращуров, которое нам порой посылает полная луна, пробуждающая подсознание человека, ставя его в положение очарованного странника, есть не напоминание о чем-то бывшем в неразрывной поколенной цепи, но — остерег: человек нынешний! останавливайся иногда на миг, оглядывайся округ себя и думай: куда идешь? и своим ли путем идешь?

...От себя добавим к мыслям Обезнатуренного: в такой миг лунного прозрения не столько сам-один человек размышляет, но это говорит в нем «память отцов» (это определение выдающегося русского философа-космиста Н. Ф. Федорова), доселе упрянтанная в пыльных и забытых чердаках подсознания. Это как нынешнее интернетовское облако...

Наш очерк суть пространная рефлексия на самобытное творчество Лескова... и осознание вселенской тоски по уходящему человеку биологическому, которому на смену приходит оцифрованный придаток к глобальным информационным сетям. Увы!

